



ЯКИМАНКА

Чудо случается на излёте, когда
тело уже отказалось от надежд, а
жизнь нет.

Елена Тимохина

Елена Тимохина

Якиманка

<https://litres.ru/74174743>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Якиманка» – это дневник распада и воскресения, написанный на обрывках, в тишине между приемами врача и ночными бдениями у окна. Анне шестьдесят. Внутри нее растет что-то, что может быть смертью – или жизнью. Город давит на нервы. Встречный светлый юноша с белыми лилиями оказывается вестником, а двухметровая цыганка в норковой шубе и белых носочках – ангелом, который просит такси, чтобы проверить, способна ли ты еще на безответный дар.

Самое страшное – не умереть, а перестать чувствовать. Анна чувствует все: тяжесть в животе, холод клеенки на кушетке, теплую сухую руку Иоакима, который в свои семьдесят берет трость и идет через весь город по навигатору в поисках жены.

Эта история – о поздней августовской сливе, слегка сморщенной, но еще сочной. И улыбке ангела, который исчезает в толпе, оставляя после себя запах полыни и горячей земли.

Содержание

История	4
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Елена Тимохина

Якиманка

История

Никто не знает, что у нас внутри. Даже мы сами.

Анна была маленькой женщиной, и если сравнивать ее с фруктом, то предпочтение получила бы слива, слегка сморщенная, но еще сочная. Сравнить ее с цветком – слишком банально, или с драгоценностью – слишком холодно). Ее неожиданная, почти неприличная для шестидесяти лет живость выглядела, как слива, плод, который уже прошел пик, но еще не стал черносливом. В нем есть сладость, есть кислинка, есть морщины, под которыми — плоть, готовая отдать себя.

Она не занимала много места, не требовала внимания, в толпе ее не замечали. Будь она сливой, так и висела бы на ветке — тихая, темная, почти сливающаяся с сумерками. Но сейчас она шла по улице, и оживленная суeta давила ее присутствием чужих жизней, которые Анна ощущала как тошноту. Метро сначала ее поглотило, потом выдохнуло, а улица поймала на ходу и вобрала в себя не в силах переварить. Женщина так и осталась внутри, как косточка, которую проглотили случайно и теперь чувствуют все время.

На вид улица казалась широкой, но ширина ее обманчива. Слишком мало воздуха, чтобы дышать. Она для того, чтобы между витринами и фасадами отелей оставалось место для машин, которые несутся так, будто за ними гонится само время. Или будто они сами – время, и оно стало металлическим, быстрым и нечувствительным ко всему остальному.

В витринах все выставлено напоказ. Магазины не продавали вещи, они выпячивали на обозрение сосредоточенность на потребности. Огромные стекла охраняли вещи, каких не бывает в природе, они предназначались для хранения пустоты, которую называют статусом. За стеклом кричал о себе манекен, на него было надето лицо ожидания. Он ждал, что его купят вместе с платьем. И Анне стало страшно, потому что она вдруг понял: они все теперь немного манекены. Только внутри еще теплится что-то, что не продается. Пока теплится. Так и лицо оказывается теплым. От солнца. Которое оно впитывало все лето, не спрашивая разрешения.

Дома здесь высокие, но это не дома, а гостиницы. Они смотрят на улицу сотнями окон, и каждое окно – это глаз, который ничего не видит. Глаз, который привык к тому, что ему платят за то, чтобы он выглядел красиво. Но красивого нет. Есть только фасады. А за фасадами – коридоры с коврами, заглушающими шаги. Чтобы никто не знал, что ты вернулся. Или ушел. В коридорах люди исчезают незаметно.

Кафе. Столиков много, но еще больше официантов, гораздо больше, чем блюд. Они выставляют столики рядами

на тротуаре, чтобы кто-нибудь мог сидеть и смотреть на улицу. Но смотреть – значит участвовать. За это и платят, чтобы иметь право сидеть и не быть сметенным потоком. Это странная плата – за право быть. Раньше быть ничего не стоило. Теперь быть стоит 500 рублей за чашку. С такой чашкой в руках перестаешь чувствовать разницу между собой и витриной.

Официанты внимательны, они присматриваются в надежде увидеть персик. Слива не притворяется персиком. Ее морщины — не дефект, а документ. Они рассказывают о засухе, о ветре, о том, что солнце было слишком щедрым. Анна не красится. Не пытается выглядеть на сорок. И все эти морщины от того, что магазины, отели, кафе, выставочный центр, даже старая церковь – давит. Снаружи. Изнутри. Как будто город проник в тебя через легкие, через глаза сразу, как только она проснулась, а когда она вышла из дома, он заполнил все пустоты. И теперь Анна идет по улице, в город передвигается внутри нее. Вот они и сталкиваются на каждом шагу.

От этого и происходит увядание. Самый страшный звук здесь – гудки машин, от которых плоть становится сморщенной. Она еще сохранила форму, пока не превратилась в труху. Ее морщины — как трещины в высохшей земле, в которые просачивается вода. Не разрушение, а текстура. Она особенно видна, когда улица затихает на секунду между двумя волнами шума. В эту секунду можно услышать себя. И

внутри тебя – такая же пустота, как и за стеклом витрины. И люди те же манекены. только без платьев.

Анна переходит на другую сторону, где меньше солнца. Она вспотела, и из пор вытекает влага. Это позволяет чувствовать себя живой. Так и у сливы самое поразительное, что под сморщенной кожицей все еще есть сок. Не водянистый, как у арбуза, а густой терпкий сок, который имеет запах.

Анна устала и не находила нужного дома. Шаг – и перед ней появлялась еще одна витрина, а в ней – отражение, в котором ее лицо выглядело чужим. Как будто душа умерла несколько дней назад, а тело еще не догнала душу и помнит, как ходить. Вот оно и ходит по этой улице. Между церковью и выставочным центром. Между небом, которого почти не видно из-за вывесок, и землей, которая стала просто местом для парковки.

Как же она устала от вещей, которые не знали о ее существовании. Они вопили о своей важности. Как тихо, незаметно, без единого звука они убивают все окружающих.

В своей значимости вещи расползались, как метастазы, поэтому город – это огромная опухоль. И вещи – ее клетки. Они делятся, множатся, заполняют собой все. От этого только шум. И называют это жизнью.

Анна шла. Выступивший на лбу и между грудей пот делал ее сочной. Она чувствовала свой запах. Когда она надкусывала губу, сок тек по ее подбородку, вот и она текла. Это нельзя было назвать ходьбой. Это было то, что остается от

хотьбы, когда внутри все течет.

Она переходила улицу – ту, что каждый день, – но сегодня она не слышала звуков улицы и голосов толпы. Было только это внутри. Не боль. Боль была бы понятна, у боли есть голос. А это молчало и росло. Как будто где-то в животе, на той глубине, где не бывает света, кто-то неторопливо и терпеливо начинал перестраивать ее влажную плоть, вить себе гнездо из того, чем она еще недавно была.

Потом воздух зазвенел. Или не воздух – кость внутри нее издала звук, которого кости не должны издавать. Машина застыла прямо перед ней, и ее пальто легко коснулось металла. Водитель кричал, но она не слышала слов, еще не поняла, что едва не погибла. Потому что погибнуть – это когда есть кто-то, кто умирает, а она каким-то чудом оставалась жива.

Она прижала руки к животу, который стал особенно уязвимым. Руки похолодели, в шестьдесят лет они умеют холодеть сразу. Под пальцами что-то шевельнулось – дало знать, что оно есть. Там, внизу. То, что могло быть чем угодно.

Улица – набитая тропа, что проложили овцы, которая стала улицей людей, и вместе с ними Анна шла по следам овец. Город не переставал шуметь ни на минуту, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. В разноголосице звуки терялись, и чтобы уловить нужный голос, Анна застыла посреди улицы. Голос терялся в ловушке, сплетенный домами, и они сжимались вокруг Анны, словно хотели проглотить. Она не сомневалась, что услышит весть.

Вестник даст о себе знать. Он тверд и настойчив. Так и у сливы есть косточка. Твердая. Гладкая. Ее нельзя разжевать. Ее выплевывают или сажают в землю. Косточка — это то, что остается, когда съедена вся мякоть. Нечто, что имеет свою волю. Косточку не прожевать, не переварить. Ее можно только принять. Или выплюнуть — но Анна хранила ее в себе.

Ей захотелось сесть, найти место, где можно положить свою тяжесть. Но тяжесть была внутри, и она пошла дальше. Потому что в шестьдесят лет знаешь: город не останавливается, что помочь тому, у кого что-то не в порядке внутри. Город не останавливается даже для смерти. Особенно для смерти.

И тут что-то порвалось в ее сознании. Что-то-то пыталось в нее прорваться. Для того и потребовалась машина, которая остановилась перед ней. Она ее не сбила, потому что время смерти ее не пришло. Она нужна была для того, чтобы прервать ее мысли и вынуть тайну из их сплетения.

Ей открылось пространство — продолжение внутреннего состояния. Сразу стало холодно. В коридоре стоял шум, но людей не было. Сидения стульев хранили отпечатки чужих тел, а в воздухе еще оставался запах чужого терпения, который не мог вытравить работающий кондиционер. Анна постучала в дверь кабинета, но вместо ответа раздался сдавленный возглас, тогда толкнула дверь и вошла. За столом сидел человек. Он прервал мысли, замер, прислушиваясь к шуму, он возник от шагов. Шаги приближались. Он окликнул.

Женщина испугалась.

– Скажете им, чтобы не шумели, – произнес врач.

– Никого не осталось, я последняя, – ответила она.

Человек сидел за письменным столом и даже не повернулся в ее сторону. Внутри него горело холодное пламя, вещественное доказательство его выгорания. Гинекологические инструменты лежали в стеклянном шкафу, белый халат стоял колоколом и разве что не звенел от тишины. Этот кабинет был устроен как отрицание всего, что должно было в нем происходить. Как будто тот, кто его создал, хотел построить крепость против того самого, чему служил. Стены были выкрашены в цвет, которого нет в природе, – его официально считали цветом спокойствия. Так красят коридоры в больницах, чтобы люди не чувствовали, что им подошел срок. Этот коридор – продолжение улицы, только более глянцевого, более сознательный в своей жестокости.

Мебель предназначена для ожидания. Стулья вдоль стены, как пассажиры на вокзале, который давно закрыли, но поезда все еще ходят, хотя больше не останавливаются.

В шкафу хранилось стекло. Много стекла. Оно блестело под лампой дневного света, показывает все, что в него кладут. В сосуды клали кусочки женщин. Маленькие, влажные, еще теплые кусочки того, что совсем недавно было частью сливы или персика, а, может, яблока. Теперь они лежали в пробирках и ждали, когда их унесут.

Врач развернул кресло к столу. Теперь он повернулся и

сидел так, что свет падал на пациентку, а его лицо оставалось в тени. Перед ним стояла женщина. Ее волосы плотно облегали череп, как шлем. Из-под шлема глаза лани. Она смотрела испуганно и с мольбой. Он привык видеть чужие страхи, но избегал думать о своих.

– Что у вас?

Она оставалась нема. Говорливых пациенток врач не любил, а молчаливые его раздражали. С такими спокойно поговорить не удастся.

Ноздри щекотала смесь дезинфектора и чего-то сладкого – словно кто-то пытался перебить смерть цветами, но ее запах оказался сильнее. В углу стоял фикус в горшке. Большой, старый, с блестящими листьями. Он рос под лампами дневного света – так трава пробивает асфальт на месте братских могил.

– Мне нужна ваша помощь.

Она торопилась, как и все, им срочно потребовалось умирать, но он не понимал, зачем им требовалось для этого идти к нему.

– Анна Матвеевна? – спросил врач, раскрывая медицинскую карту.

– Матфановна, – коротко поправила она, привыкшая не говорить лишнего.

Она смотрела на стол. Он был очень удобен, на него расставляли тарелки с угощением, когда в отделении устраивали застолья. Анна заметила виноградину, закатившуюся в

тень, где ее не доставал свет настольной лампы. Соскользнула с блюда и осталась незамеченной. Но был и еще один предмет – крошечный клубочек медицинской нити, которые вызывал у нее воспоминания об аккуратных швах, которым ее учили на уроках рукоделия, тогда тщательность считали не менее важной, чем прочие умения. Но теперь хирург небрежничал и использовался нитью для очистки зубов. Даже букеты цветов, которые врач позволял себе принять от больных, напоминали больше пучки сухой травы. Словно на кладбище.

На стене висели дипломы в 3 золотых рамках. Они покоились – то ли изначально повешенные криво, то ли от того, что их владелец выбрал не ту жизнь.

– Раздевайтесь.

В этом кабинете осматривали тела. Чего тут не оставалось, это стыда, когда человек еще чувствует границы своего тела. Границ больше не существовало, и место стыда заняло равнодушие. Это его запах витал в воздухе. Дезинфектор и сладковатый дух гниения – смерть при жизни.

Анна разглядывала свое тело. Оно вобрало в себя все цвета сливы — желтые, красные, зеленые. Но ее настоящий цвет был темно-синий, почти черный, с белесым налетом, как иней. Этот налет стирается пальцем, открывая глубину.

Никого не интересовал истинный цвет. Темный делает тело невидимкой – и это в городе, где все кричат, чтобы заявить о себе. Доктор осторожно расчищал налет, собирая ин-

формацию: она из «хорошей семьи», что предполагает деньги, возможности и связи. Все это у нее имелось. Но под налетом жила плоть – теплая, влажная, готовая.

Когда Анна легла на спину, она вошла в углубление, в котором лежали женщин до нее. Следы их присутствия давно выветрились, но осталось то самое углубление, которое принимает тело, когда оно сдается. Она лежала в этой форме, как мягкая субстанция, которой предстояло затвердеть и стать следом.

Он склонился над ней и действовал тщательно, как и все язычники, во все вникал и всему искал объяснения.

А за стеной кто-то говорил по телефону. Слова нельзя было разобрать, но звук проходил сквозь стену – тонкий, как игла. Игла вошла в кабинет, прошла сквозь фикус, сквозь дипломы, сквозь стеклянные пробирки с кусочками других женщин, и уколола Анну прямо в то место, где ее тяжесть еще не стала диагнозом.

Врач молчал. Пальцы его были холодны и точны – пальцы часовщика, который разбирает механизм, чтобы доказать себе, что внутри нет души.

– Вставайте, – произнес он. – Результаты через три дня.

Анна пыталась сообразить, что ей хотел сказать врач. Он не отличался чувствительностью – слишком долго смотрел на чужие раны. Он перестает видеть раны, остается только материал. Вот он наклонился над раковиной, чтобы смыть следы материала.

И тут он закричал.

Сначала Анна не поняла – на кого. В кабинете никого не было, кроме них двоих, значит, на нее.

– Две недели! – кричал он, и голос его был как ржавый инструмент, которым пытаются резать живое. – Вы носите это в себе, как драгоценность. Если это онкология, две недели – это уже приговор.

Он стал писать. и она снова разглядывала этот широкий серый стол, на котором она была маленькой виноградинкой. И она смотрела во все глаза, на месте ли маленький клубочек, содержащий в себе хирургическую нить. И что же? На том месте, где лежал клубочек, было пусто. Причина банальнейшая. Кто-то воспользовался нитью, чтобы заштопать чью-то раны. Мастер штопки держал нитки под рукой.

Врач не смотрел на Анну и тыкали пальцами в клавиатуру компьютера, заполняя карту. Он не терпел душеспасительных разговоров с женщинами, которые приходили в этот кабинет. Он кричал.

Так происходит, когда ты не можешь с чем-то справиться. Например, ешь сливы в гостях. Сока брызгает соком и заликает руки и лицо. Ее едят над раковиной, наклонив голову, чтобы не запачкаться. Или в саду, стоя под деревом. Сливу едят в одиночку.

Он выбрал эту профессию, как выбирают крест – чтобы иметь что нести. Он стал хорошим специалистом и принимал два дня в неделю в дорогой клинике для женщин с до-

статком. Три дня он проводил приемы в районной поликлинике — здесь, по полисам, где женщины пахли не духами, а потом. Он принимал их тела, но не принимал их присутствия. Ему досталась роль священника, который разучился молиться, но продолжает раздавать причастие, потому что это единственное движение, которое он еще помнит.

И тут случилось странное. То, о чем не пишут в медицинских картах.

Анна не испугалась крика. Она почувствовала нежность. Не к нему. К себе. К этому тяжелому, непонятному, возможно, уже умирающему низу живота. Она запачкалась — соком страха, соком нежности, соком той странной радости, которая приходит, когда уже нечего терять, и внутри нее жило что-то, что требовало ее внимания не криком, а молчанием. И она вдруг поняла, что любит это место. Этот узел. Этот возможный распад. Потому что распад — это тоже превращение. А превращение — это единственное, что с ней происходило всю жизнь.

Он сразу устал — стало видно по тому, как он обмяк в кресле. Это становится видимо сразу, как трещину на лобовом стекле. Он устал от работы, которая давит на нервы. От женского, которое присутствует везде — в страхе, в суетливости, в этой проклятой загадки, которую они все прячут под слоями плоти, а она все равно проступает сквозь их телесность, как жир на бумаге. Возможно, он ненавидел женщин. Это происходило потому, что он их не знал, просто в его окру-

жении не было женщин. Или по другой причине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.